



Роман Валерьевич Сенчин

Изобилие (сборник)

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=437415
Сенчин Р. Изобилие: Рассказы: КоЛибри; Москва; 2010
ISBN 978-5-389-01370-4

Аннотация

Новая книга рассказов Романа Сенчина «Изобилие» – о проблеме выбора, точнее, о том, что выбора нет, а есть иллюзия, для преодоления которой необходимо либо превратиться в хищное животное, либо окончательно впасть в обывательскую спячку. Эта книга наверняка станет для кого-то не просто частью эстетики, а руководством к действию, потому что зверь, оставивший отпечатки лап на ее страницах, как минимум не наивен: он знает, что всё есть так, как есть.

Содержание

Очистка	4
Будни войны	6
Под сопкой	9
Сегодня повезло	14
Кайф	16
Мясо	22
Изобилие	23
Таможня	25
Ничего	27
1	27
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Роман Сенчин

Изобилие

Очистка

Генка вывалился из универмага, толкая входящих и выходящих.

– Раздись, ёптель! Дорогу, бляха!

Люди послушно шарахались от него, кто морщился, кто отворачивался.

На улице хороший мартовский день. Тает снег, солнце светит ярко, припекает даже.

– Ё-о! – громко хрипит Генка, сдвигая плешивую кроличью шапку на затылок. – Бля буду – весна!

Он, шатаясь, бредет по тротуару. Никто не хочет с ним столкнуться, обходят.

– Эй, землячка, погоди! – пытается заговорить Генка с миловидной женщиной. – Давай эт самое... Я плачу! Ну-у...

Замечает курящего парня.

– Во, зёма, стоять!

Парень, замедлив шаг, недружелюбно смотрит на Генку.

– Зёма, дай, бля, покурить. Курить хочу охренеть как! – Принимает сигарету. – Во, и огоньку. Зашибись! Держи копыто!

Топают дальше. Улица широкая, чистая. Весна, солнце. Люди кругом, жизнь. Сигарета тухнет.

– Э-э, бля! Ну, ёп-та! Сука, бля!

Генка стоит посреди тротуара, шатается, крутит в руках окуроч.

– Ён-ный рот!

Он расстроен.

– Твою-то мать!..

Прохожие сторонятся, обтекая пьяного. Какой-то пожилой, плотный дядя не хочет просто пройти – встал перед Генкой.

– Чего раскричался? – спрашивает.

– А те хер ли надо? А?

– Чего орёшь-то? Постеснялся бы, – грустно говорит дядя. – Заберут ведь.

Генка не понимает:

– Чё, ветеран? Медаль есть, ёп-та? Чё ты, бля, лезешь?

– Эх, ты-ы! – качает головой пенсионер.

– Рот закрой!

– Научился...

– Рот, говорю, закрой! Пень тухлый. Медаль, да? Вали дальше, угод!

– Научился... Домой бы ступал, проспался хоть.

– У-у! Затрахать решил, да?!

– Молоде-ец... – И пенсионер медленно идет дальше, убедившись, что этого не исправишь.

Генка еще долго стоит, хрипит, размахивает руками, потом тоже двигается по улице. Споткнулся, упал. Потерял окуроч.

– Ох, бляха-муха!

Встал, огляделся по сторонам.

А день-то кончается. Солнце скатилось за пятиэтажки. Грустно, обидно...

Генка заводит песню:

– Да красноярское солнце, да над проклятой тайгой!..
К Генке подходят. Двое высоких, хорошо одетых парней. С приятными лицами.
– Подожди-ка, – говорит один, беря Генку за локоть.
– Чего?
– Давай пройдем сюда.
Они подталкивают Генку к забору.
– Чего, ёп-та? – удивляется Генка.
И вот за забором. Тут намечалась когда-то стройка. Котлован, на дно его сочится рыжая вода. Вокруг кучи земли, бетонные плиты.
– Чего надо, бляха?
– Вот сюда...
Заводят за штабель плит, ближе к котловану.
Генка испуган:
– Зёмы, вы чё?..
– Давай, Андрей, – кивнул тот, что держит Генку за локоть.
Андрей вынул из-под пуховика молоток.
– Зёмы?!
– Мы не зёмы. Мы очищаем город от мрази. Андрей!..
– Зё-о!..
Рот Генке закрывают рукой в мягкой перчатке, резко наклоняют вперед. Шапка слетает с головы, катится в котлован. Андрей коротко размахивается и крепко бьет Генку молотком по затылку раз и второй.

1995 г.

Будни войны

Пленные, в количестве восьми человек, копают братскую могилу для своих и наших трупов. День очень жаркий, воздух повышенно влажный. Все потеют.

Я сижу на пригорочке, отваясь на ствол сосны, и наблюдаю за работой, вытирая время от времени мокрое лицо вонючей, обтрепанной пидоркой.

Пленные белеют незагорелыми голыми торсами, кое-кто даже снял свои пятнистые х/б штаны и остался в синих трусах. Мне неприятно смотреть на их шевеления, слушать их вздохи и тихие разговоры.

Я охраняю их не один: вокруг сидят другие ребята в тенике деревьев, с автоматами на коленях и тоже смотрят на пленных или дремлют.

Недалеко от готовящейся могилы сложены пирамидкой убитые с обеих сторон, в одинаковых камуфляжах, с одинаково короткими стрижками, в кирзачах одной фабрики. От них еще не пахнет мертвыми, так как полегли они все часа четыре назад, когда наш батальон сжимал кольцо.

В двух шагах от трупов лежат умирающие враги. Они изредка постанывают и просят воды. Они не шумят и почти не двигаются, и на них не обращают внимания.

Вражеский солдат со сломанной рукой спрятался в кусте вереска и тихо плачет там от боли или от страха.

Я крикнул ему, устав молчать:

– Не ной, боец, уже скоро...

Он высунул лицо из куста, мутно на меня посмотрел, покачиваясь всем телом, и снова спрятался, ничего не сказав.

Пленные копают саперными лопатками, и работа их продвигается медленно. Хорошо еще, что могила сегодня будет небольшая – человек на полста.

Все пленные – сержанты и рядовые; их безусого лейтёху сразу после боя куда-то увели, а участь этих ребят определил приказ за номером двести семьдесят два... Они все молодые – лет по восемнадцать—двадцать. И мы тоже молодые. Срочники.

Постепенно работающие скрываются всё глубже и глубже. Я встаю, снимаю с ремня фляжку, делаю пару глотков теплой воды и подхожу к яме.

– Ну что, хватит? – спрашиваю.

Пленные прекращают копать, смотрят на меня снизу без злобы и без надежды.

Один, в трусах, отвечает:

– Если аккуратно сложить, то хватит.

Я помолчал, прикинул, потом сказал:

– Углубитесь еще чуток, и хорош.

Возвращаюсь к сосне, сажусь.

– Эй... Эй, братан, дай водички глоток, а? – жалобно просит из куста парень со сломанной рукой.

Я отвечаю:

– Не дам.

Он не настаивает.

В такую жарень даже курить нет никакого желания. Но скоро вечер. Если ПХД подошла, то наши уже жрут. Что там сегодня?... А потом – и сон.

Я махнул Борьке, сидящему под соседней сосной. Он лениво поднялся, подошел.

– Давай за кэпом. Скорее со всем этим кончим... Хавать охота – кишки слипаются.

Борька бросил автомат за спину, побрел через лес к лагерю.

Я крикнул пленным:

– Ладно, закругляйся! Хорош.

Из ямы вылетели лопатки, затем вылезли парни. Собрали лопатки и сложили в кучку. Присели на прохладный – из глубины – песок. Вытирают тела несвежими майками, чешутся.

Мне тоже охота чесаться. Эх, искупаться б сейчас...

Пленные ведут себя тихо. Молчат, ничего не просят, не ноют. Один только, худенький, чернявый, что-то подозрительно цепко поглядывает на меня. Вот не вытерпел и неуверенно подошел, но не близко, шага три не дошел. Я смотрел, ждал, чего скажет, а он переминался с ноги на ногу.

– Чего тебе?

Он тут же присел на корточки, быстро заговорил:

– Слушай, д... друг, ты ведь из Питера?

Я пожал плечами:

– Учился там. А чего?

– Ты на концерте был?... Помнишь, концерт был... «Алисы»? В «Юбилейном», а? Я тебя видел...

– Ну. И чего? – Мне не хотелось ничего вспоминать.

– Друг, ты, это, ты скажи, чтоб не стреляли. А? Я у вас... за вас, короче... Скажи... Помоги, друг, а?

– Не знаю, – сказал я. – Сейчас капитан придет, разберется. Жди пока.

Он ушел к своим. Я закурил.

Пленные посматривали на сигарету, но попросить не решались. Да я бы и своему не дал – с куревом нынче снова напряги.

Пришел капитан Пикшеев. Он в выцветшем камуфляже, с рацией на боку, в высоких ботинках старого образца. Я встал ему навстречу.

– Ну как, Сенчин, подготовил? – спросил капитан.

– Так точно. Трупы укладывать?

– Первый раз, что ли? Давай быстренько!

Я крикнул пленным:

– Складывай этих давай.

Они принялись таскать убитых в могилу.

– Место экономим, плотнее, – говорил я время от времени.

Закончили. Капитан посмотрел в яму, поцокал языком раздумчиво.

– Давай теперь раненых.

Я поставил автомат на одиночные выстрелы, передернул затвор... Один из пленных переворачивал лежащих лицом в землю, а я стрелял. Стрелял в затылок, чуть выше шеи. Умирали тихо. Всех спрятали в яму.

Капитан снова посмотрел туда и сказал:

– Хреново выкопали, жлобы. Поверх лежать будут.

Трогая теплое дуло своего АК, я ответил:

– Да привалим землей потолще, ничего. Пусть бугор будет.

Капитан поморщился, потянул время. Потом велел:

– Ну, теперь этих... – И вздохнул. – Что-то тяжело сегодня... Давление, что ли.

Солнце уходило за поросшую ельником и сосняком ближайшую с запада сопку. С озера потянуло свежестью. Очень хотелось есть.

– Пора, пора, товарищ капитан, – сказал я. – Только один момент. – Понизил голос. – Вот тот, с черными волосами который, с краю, он к нам просится.

Капитан Пикшеев посмотрел, поразмыслил, как всегда, и махнул рукой:

– А, еще возиться с ним... Всех – так уж всех.

– Ясно. – Я пошел к пленным: – Давай, братва, вставай на край.

Они повиновались неторопливо и молча. До этого сидели на земле и о чем-то перешептывались. Теперь кто-то крупно дрожал, кто-то надевал штаны.

Наши парни стекались сюда же, готовили автоматы.

Вдруг из числа пленных выступил невысокий коренастый мужчинка в промасленной, заношенной пидорке с новенькой, яркой трехцветной кокардой и в застегнутом на все пуговицы камуфляже.

Он заговорил сильным, но подрагивающим голосом:

– Товарищ капитан, может, не надо этого... по-человечески. Одно дело – в бою этом дурачком, а так... Ведь на одном же языке говорим, все ведь... россияне. Зачем так?.. Потом же... товарищ капитан...

– Ладно, боец, – перебил Пикшеев, – давай не жалоби меня. У меня есть приказ. Ясно? Если я его не буду исполнять, меня самого туда же отправят. – Капитан разошелся, он вообще не любит дискуссий. – И жалобить меня не надо – сами знали, что будет. Присягу давали? Давали. Теперь пора отвечать. А просьбами я сыт по горло уже. Ясно, нет? Стан-вись!

Пленные сбились в кучу. Из вереска вылез увечный и прибил к своим, непрерывно качая распухшую руку.

Невдалеке послышался шум знакомого «ЗИЛа». Это Костик везет в лагерь ПХД. Наконец-то... Мне с новой силой захотелось есть.

Наши встали ломаной цепью шагах в десяти от еще не убитых. Капитан Пикшеев похаживал по зеленой травке, беззвучно шевелил ртом, глядел под ноги. Остановился, достал из кармана мятый носовой платок, вытер пот со лба. Посмотрел на небо, бесцветно, нестрашно сказал:

– Огонь.

Ударил дружный залп короткими очередями.

1993 г.

Под сопкой

– Арбузик, оставишь?

Он кивнул и, скрючившись, чтобы свет от зажженной спички был менее заметен в грязно-белой мути северной ночи, закурил. Я смотрел, как он затягивается, держа окурочку внутри кулака, ловил ароматный дымок ненашего табака. Курить хотелось очень, я вздохнул.

– Щас бы «беломоринку»...

Арбуз усмехнулся:

– Размаслался, обойдешься и этим.

Я вздохнул снова.

Было тихо, сыро и почти светло. Кончался июнь. Дождь, ливший весь день, к вечеру прекратился. Мы лежим в грязных, липнущих к телу одеждах и ждем рассвета.

Перед нами крутая сопка, густо поросшая какими-то тонкими, похожими на рахитные елочки кустами, а за ней начинается город. Нам известно, что город этот большой, но сейчас его близость совершенно не ощущается. Не видно огней, не слышно звуков жизни. И вокруг нас лежат сотни людей, но их не слышно, не видно. Тихо.

Я перевернулся на живот, уткнул лицо во влажный, мягкий мох. Хорошо он пахнет.

– Добивай, – ткнул в плечо Арбуз.

Я принял окурочку, сделал тяжку. Пустая теплота наполнила грудь.

– Гадость какая! «Беломору» хочу.

Арбуз шутливо стал оправдываться:

– Извини, но в продаже имелись только эти.

– Ладно, – говорю сержантским тоном, – извиняю пока.

После четвертой затяжки от окурочка остался только фильтр. Я вмял его в мох, сплюнул и перелег на спину.

Небо бесцветное и скучное. Одежда отсыревшая, воняет... Противно. Пальцы ног чешутся, их уже давно и упорно поедает грибок.

– Арбузик, расскажи давай что-нибудь.

– Что?

– Ну, интересное.

Он думает.

Потом говорит:

– Нечего.

– Тогда неинтересное.

Он еще немного подумал и повернулся ко мне:

– Вчера анекдот услышал, когда у ПХД торчал. Ты его знаешь, наверное...

– Может, не знаю.

Арбуз устроился поудобнее, поджал ноги к животу.

– Короче, жена торчит с любовником. Ну, все дела. Вдруг – муж. Жена выбегает к нему с ведром. Ну, с мусорным: «Вынеси, дорогой!» Муж взял, понес. Любовник скорее оделся, забежал этажом выше, дождался, короче, когда муж в квартиру вернулся, а потом домой покати. Ну, приходит домой, а жена ему на пороге сразу ведро: «Вынеси, дорогой!»

С Арбузиком мы вместе с того дня, как закончилась учебка и нас привезли на заставу. На учебке мы были в разных ротах, а на заставе держались вместе. Много с тех пор изменилось, среди многих людей мы побывали, и вот теперь черт знает за сколько сотен км от того места, куда были призваны, черт знает в каком подразделении. Здесь у нас и пограницы, и взд-эвэшники, и болты. Называется это скопище – БПУ. Батальон пограничного усиления. Сна-

чала в нем были только мы, пограничники, мы охраняли таможенную, ж/д станцию, проверяли проходящие мимо составы, а потом... Потом все перемешалось, и наш батальон, разросшийся до размеров полка, вдалеке от границы выполняет самые сложные боевые задачи.

Мотаемся по всему округу, занимаем и оставляем какие-то мелкие городки, поселки с тарабарскими названиями, моемся в речках и озерах, разбегаемся, соединяемся, лазаем по болотам, садимся в развороченные вагоны, куда-то трясемся в удушливом ящике БМП, устраиваем облавы, окружаем и попадаем в окружения.

Теперь вот лежим перед сопкой, за которой начинается большой город, как нам сказали, самый крупный в этих краях. Я вчера видел у командира роты план: за сопкой начинается стадион, рядом территория какой-то бывшей в/ч, а дальше склады и жилые кварталы. Наша цель – прорваться до вокзала и занять оборону. Слева и справа от нас другие подразделения и формирования, и у них тоже свои цели и задачи.

– Знаю этот анекдот тыщу лет, – говорю я Арбузику.

– Предупреждал же...

Он уныло вздыхает и отворачивается.

Несколько минут не было никаких, даже самых слабейших звуков. Я лежал с закрытыми глазами, так как-то уютнее и, кажется, теплее. Думать ни о чем не хотелось, но когда лежишь вот так, мысли лезут, лезут... И становится страшно.

Арбузик зашевелился, чиркнула спичка. Потом я почувствовал запах крепкого табака. Заныло внутри, как от голода. Но опять просить оставить было неприятно – он экономил, а я... Слушал, как Арбузик шумно втягивает дым, выдыхает, плюется...

Он сам толкнул в плечо:

– На, на парочку тяжек.

Это был влажный чинарик овальной сигареты. Может быть, «Астры» или «Памира». Я жадно стал докуривать, даже сел, для большего удовольствия.

– Сучара ты, Арбузик! – сказал ласково.

Он улыбнулся и объяснил:

– С вечера бы всё искурили, а сейчас бы... сосали.

– Ты прав, чебурашка. – Я раздавил миллиметровый окурок во мху и лег на спину. – Хорошо-о...

Долго без движения лежать не получалось, тело зудело, и невольно приходилось менять положение – тогда одежда терлась о кожу, и на какое-то время становилось полегче. Лишь пидорка, приросшая к голове, не двигалась – кажется, она не упала бы, если б меня подвесили вверх ногами.

– Слушай, – тихо позвал Арбуз.

– Чего?

– Дай на Ленку посмотреть. А?

– Обкончаешься, – пошутил я, но расстегнул заполярку на груди, залез рукой в глубь липких, вонючих одежд. Там, во внутреннем кармане кителя, лежал блокнот, а в нем истертая по краям фотография.

Арбуз долго смотрел в белой мутности на снимок, горестно вздыхал и двигал скулами.

– А меня никто не ждет, – сказал то же, что и всегда. – Родители только, братишка. Писем нету... Знаешь, у меня такой братишка классный!

– Ты рассказывал.

– Рассказывал...

Арбузик отдал фотографию и загрустил.

Грустит он редко, но, когда грустит, мне тоже очень плохо. И жутко как-то становится.

– Э, ты чё? – начал я его тормошить. – Скоро домой, не ной ты...

– А-а...

– Не веришь, что ли? – И я начинаю рассказывать о скором: – Придешь ты, Арбузик, домой, примешь душ, в ванне налужишься по полной, натянешь джинсы, там, маечку, свитер, подмышки попрыскаешь... И все девчонки твои!

– Молчи лучше, блин.

Я замолчал.

Долго лежали, отвернувшись друг от друга. Даже, наверное, подремали.

Где-то вдалеке зашумело. Неясно, с какой стороны и что именно. Пошумело и стихло.

Я спросил:

– У вас в школе НВП было?

– Угу.

– Смешно, да?

– Угу.

Говорить Арбуз не хотел, и я оставил его в покое. И сразу стало вспоминаться всякое. Мама, там, отец, город родной, Лена... Нет, лучше не надо.

– Эй, Арбуз, а ты сколько писем не получаешь?

– Четыре месяца.

– Хе! А я – шесть! Так что, салага...

Арбузик заворочался, сел.

– Ладно, давай не будем. Крыша может съехать.

– Да? – я тихо засмеялся. – Да уже съехала! Ты чё, не замечаешь?

Арбузик расстелил на мху мятый газетный обрывок и стал выворачивать свои карманы.

– Давай собирай табачинки, – велел он. – Я днем у нашего КП беломорных бычков набрал. Сейчас по штучке забьем.

Я тщательно выскреб из карманов заполярки и из-под швов пидорки весь сор. На обрывке газеты образовалась маленькая кучка, далеко не сухая и не аппетитная. Крошки хлеба, какие-то волоски и шерстинки, песок.

– Хрен с ним, – разглядывая все это, сказал Арбуз и выпотрошил сверху остатки полусгоревшего табака из папиросных окурков.

Сделали уродливые самокрутки. Закурили. Запахло паленой шерстью, тянулось слабо, а дым был едкий и совершенно не табачный. Мы тихо кашляли.

– Да, – шептал Арбуз досадливо, – это не в кайф.

Я с ним соглашался:

– Лучше лавровые листья курить.

– Курили бы, если бы были.

– Эх-х, а когда-то вот такие бычки выкидывал! Дурак... Помнишь, как на заставе жили?

Арбуз не ответил. Я посмотрел на часы. Начало пятого. На востоке уже ощущается солнце. Арбузик снял сапоги, перематывает портянки.

– Чё, готовишься?

Он опять не ответил, возился что-то все, шарил по заполярке, подсумок проверил, автомат. Нервничает.

Кое-где стали виднеться лежащие за кустами и пнями наши ребята по двое, по трое. Все, наверное, шепотом о чем-то базарили, хотели курить, ждали рассвета...

Арбуз толкнул меня, я повернулся. Он протягивал мне кусок чего-то коричневого.

– Что это?

– Шоколадка.

Я взял, засунул в рот. Арбуз смотрел на меня добрыми, грустными глазами.

Я сказал ему:

– Спасибо.

Он улыбнулся и повернул лицо к небу.

Шоколадка была приятно-горьковатая, вкусная. Когда она растаяла, я взбалтывал массу языком, наслаждался. Осторожно измельчал гнилыми зубами орешки. Глотать не хотелось.

Далеко за нашей спиной, казалось – где-то из-под низу, затрещали вертолеты. Они приближались, треск усиливался. Это значит – сейчас в атаку. В кустах и за кочками зашевелились, забряцали автоматные ремни. Послышался глухой, подрагивающий голос нашего старлея:

– Готовься, ребятки. Готовься.

Арбузик подтянул к себе АК, вытащил из ножен штык-нож, пристегнул к дулу. Снял с предохранителя, передернул затвор.

Я бормотал, боясь молчать:

– Скорее бы... скорее бы взяли этот чертов вокзал... хренов, а то ведь провозимся до вечера... с пустыми кишками. Блин, когда ж это кончится... всё? Патронов три магазина. Бли-ин...

А небо уже клекотало. Вот вертолеты за нами, вот над нами, а вот впереди. Один завис над нашей сопкой. И заработали пулеметы. Все ожило. Сразу стало не страшно, интересно даже – как всё пройдет. Старлей поднялся за нашими спинами и крикнул:

– Вперед!

Арбуз рванулся.

– До встречи! – сказал я.

– Давай, – ответил он небрежно, словно торопился по очень важному делу.

Он пробежал несколько шагов и упал, перекатился влево. Сразу вскочил я. Упал немного впереди Арбуза, откатился. Услышал его бег. Он был уже рядом со мной, но вдруг дернулся, будто наткнулся на стену, и начал падать. С сопки очень короткими очередями бил пулемет. Я услышал писклявый выдох Арбузика, с колющим свистом ушла куда-то в лес пуля.

Тут же с вертолета снова ударило по сопке. И сзади, из сосен, где стояли БМП. Я глянул на лежащего в двух шагах Арбузика, вскочил, чтобы бежать вперед.

Но я не побежал, а упал через шаг.

Говорят, взяли не только вокзал, но и весь город без особых потерь. Хорошо сработали вертолетчики, подавляя огневые точки и разгоняя противника. Всего один вертолет погиб: взорвался в воздухе. Еще два были подбиты, но сумели сесть. Экипажи отстреливались до подхода пехоты.

В самом городе почти никакого сопротивления наши не встретили. К полудню он был занят. Тут же начались помывка и стирка.

Но к вечеру поступили сообщения, что с юга к городу приближается вражеская колонна, а с северо-востока движется корпус морской пехоты какого-то контр-адмирала, усиленный вертолетами и бронетехникой. Началась подготовка к круговой обороне.

Мы с Арбузом лежали рядом. Он лежал лицом в траву, а мне повезло – я лицом вверх. Правда, мне на лицо садились мухи, ползали муравьи, и я не мог их согнать.

Под утро начался штурм. Слышались взрывы, вой ракет, грохот разваливающихся зданий. Яркое и широкое зарево теперь по ночам обозначало, что здесь находится большой город. Шум раздавался на многие километры.

Мы лежали уже несколько дней. Как-то раз нас смочил дождик, а в основном погода стояла солнечная.

Как-то пришли несколько солдат в серых бушлатах и в противогазах. Они собирали автоматы, патроны, гранаты. Взяли у нас и кожаные ремни, уже истертые, но все равно ценные.

Осторожно пошарились в наших карманах. У меня вытащили шариковую ручку, давно пустой портсигар с картой родной области на крышке, а также фотографию Лены из блокнота. Сам блокнот выкинули.

Солдат, нашедший фотографию, долго рассматривал Ленку огромными противогазовыми глазами, а когда к нему подошел приятель, показал ему.

– Новую дрочилку нашел? – посмеиваясь, спросил приятель.

– Да, как-нибудь в удобной обстановочке...

– Давай-давай. Я потом успею с ней, когда тебя грохнут.

Они ушли, а я вспомнил фотографию. Ленка на ней снята в скверике возле кинотеатра «Пионер». Наше любимое место... Ленка в коротенькой узкой юбке и белом свитере. Свитер широкий, но шея и плечи открытые. Она сделала губки розочкой и прикрыла немного глаза, томно так. На обороте фотки крупными, с красивыми завитушками буквами написала: «Это твоя Ленка. Навсегда».

А у Арбузика его семейную фотографию не забрали, а взяли крутой кожаный бумажник, который он хранил как зеницу ока все эти годы. Для него он был вроде талисмана. Единственная вещь из дома, из той жизни.

1993 г.

Сегодня повезло

3 июля. Станция Тайга Кемеровской железной дороги. Стоянка поезда Москва–Абакан двадцать минут. Многие пассажиры вышли из душных вагонов. Одни покупают кое-какую провизию на последние несколько часов пути, другие перекуривают на перроне или просто дышат свежим воздухом.

Десяток солдатиков, следующих к новому месту службы, полезли обратно по команде лейтенанта – значит, вот-вот тронемся. Поедем дальше. Позади полстраны, двое с половиной суток пути, а до дому еще вечер и ночь. Что ж, не так долго. Год почти ждал этого момента – возвращения домой на каникулы, – теперь наконец он приближается.

Я запрыгнул на свою верхнюю полку, устроился, раскрыл книгу. С книгой как-то время незаметнее идет, хотя любая сейчас покажется скучной – тянет мечтать, представлять, как встречусь с родителями, друзьями, погуляю по родному городку. Спасает сон. Вот тронемся, вагон будет покачиваться, колеса застучат монотонно. Чтение плавно перетечет в дремоту, а может, и усну крепко и надолго. Хорошо бы.

– Что-то уж семь минут стоим лишних, – проворчала снизу соседка-старушка. – Или у меня что с часами... Да нет, всё правильно шли.

Появился лейтенант, то ли в шутку, то ли серьезно объявил солдатам:

– Н-ну, орлы, придется хватать вещмешки и до гарнизона марш-броском выдвигаться!

Больше солдат заволновались от таких слов ближайšie гражданские пассажиры:

– А что случилось? Почему стоим-то? Что там говорят, скоро?

Лейтенант неуверенно ответил:

– Говорят, опять шахтеры на рельсах.

Спокойное чтение под перестук колес, которое плавно сменится дремой, отменяется. Я отложил книгу, спустился с полки. Вслед за многими недовольными побрел по узкому коридорчику к выходу.

На перроне, кажется, почти все обитатели временного дорожного жилища. Кое-кто побежал на станцию выяснять, как можно добраться домой другим транспортом. Некоторые из них возвращались обрадованные, вытаскивали багаж:

– На автобус! Тут до Мариинска-то моего рукой подать.

На настойчивые многоголосые расспросы проводник скупое, но твердо отвечал:

– В Анжерске митинг, путь перекрыт. Ничего пока не известно.

В вагонах включили радио. «Маяк». Из первой же сводки новостей узнали более или менее подробно: в районе станции Юрга Транссибирская магистраль перекрыта полностью, а в Анжеро-Судженске идет митинг, на котором решается – перекрывать дорогу или нет.

– Еще хорошо, что Юргу проскочили, – сказал пожилой, мощного сложения мужчина с бокового места, открывая пиво.

Старушка вздохнула:

– Старик-то мой изведется. Из деревни нарочно приедет к поезду, а его нет и нет. О-ох-х, повидала внучат...

– Что ж делать? – Мужчина глотком осушил треть бутылки. – Подождем-с.

Потомившись еще немного у динамика, я снова вышел на перрон. Закурил. Со стороны станции шагал к составу солидный человек в форме железнодорожника с очень внушительными погонами. Рядом с ним плотной стайкой – проводники.

Солидный на ходу отдавал распоряжения:

– С каждого вагона список детей и инвалидов... Обеспечить людей питьевой водой... Сообщить о местонахождении туалета на станции...

И мне, когда услышал эти несколько обрывочных фраз, ясно представилось, сколько проблем возникнет и у пассажиров, и у администрации, если наш поезд простоит здесь хотя бы три-четыре часа. Сколько чисто бытовых неудобств, не говоря уже о нарушении системы движения!

Я бросил окурок, вернулся в вагон, к своей полке. Здесь чувствуешь себя не таким неприкаянным, немного как бы под какой-то защитой. Можно лечь, взять книгу...

– Как там? Что говорят? – спросила старушка.

– Кажется, будем стоять, – не стал я ее обнадеживать.

Принялся было читать, но возник разговор между соседями. Невольно прислушался, книгу закрыл.

Развозмущалась женщина, севшая в Омске:

– Да согнать их просто-напросто! Какое они право имеют брать и задерживать поезда?!

Люди торопятся, у меня лично похороны! Мне каждый час важен!

– Вот-вот, – поддерживала ее старушка, – вот, правильно...

– Летайте самолетом, – буркнул мужчина, как раз допив пиво.

– Летайте сами, если денег куры у вас не клюют. Что ж сами-то здесь? – нашла противника женщина из Омска. – Легко сидеть говорить!

– Так я и ничего. Пускай на здоровье бастуют. – Мужчина достал из пакета новую бутылку. – Довели людей, а теперь удивляются...

Женщина взвизгнула:

– Кто довел! Я довела?!

– Горбачев дал всем волю, – сказала старушка. – Раньше-то и в мысль не пришло б выйти, а при ём все можно стало: и воровать без огляду, и бастовать вон сколь влезет.

Мужчина усмехнулся:

– При Горбачеве-то из-за другого бастовали. Тогда требовали, чтоб платили побольше, а теперь – чтоб хоть отдали наработанное. Вот и лезут на рельсы, что жрать нечего.

– Мда-к, – недовольно крикнула старушка и уставилась в окно, за которым, наверное, надолго замерли черные, с сальными подтеками цистерны.

Появились в конце концов утешительные вести: шахтеры решили пассажирские пропускать. Значит, сейчас мы продолжим путь.

Вагон заполнился вернувшимися с улицы людьми, затем проводник долго выяснял, все ли на месте. Лейтенант провел проверку своих бойцов.

Тронулись. Проплыла мимо и осталась позади станция Тайга. Начались поля и рощицы, картофельные делянки под насыпью. Я взялся за книгу. Вагон мягко покачивался, однообразный перестук убаюкивал.

Обитатели вагона занялись обычными в дороге делами: одни раскладывали на столах еду, другие играли в картишки, третьи перебирали вещи, четвертые лежали, читали, дремали. О недавних нервных минутах, о вышедших на рельсы шахтерах никто не вспоминал: проехали относительно благополучно, повезло нам – и ладно.

1998 г.

Кайф

За все, как говорится, надо платить. Я вот напился у Андрюхи и пошел. Несколько раз падал. Около магазина «Кедр» меня взяли.

– Стой-ка! – принял в объятия пэпээсник с дубинкой.

Потом, помню, куда-то я побежал, а они за мной. Возле сберкассы упал. Помню, меня обыскивали. Нашли темно-зеленый камушек в кармане.

– План! – обрадовался кто-то.

– Не, камень, какой-то.

Сунули его обратно.

Потом, помню, стал я буянить. Вырывался. Но ничего, вроде не били.

Потом, помню, в узике ихнем сидел. Окошечко в двери с решеткой. Город за решеткой, люди спокойно ходят. А я сижу, смотрю. Пьяный.

Потом ввели в помещение. Вот так вот направо – клетка большая, в ней битком людей. Налево – лестница вниз, а прямо так – стол; за столом милиционер с большим значком на груди и женщина в белом халате. Кого-то допрашивают.

Подхожу к столу.

– Зачем меня задержали?

Меня подхватывает какой-то милиционер, перетаскивает на диван.

– Посиди тут пока.

Сижу, потом, помню, встал.

– Не имеете права задерживать! Я поэт. Я пишу поэмы!

Меня толкнули на диван:

– Сиди давай.

Сижу. Пить захотелось.

– Дайте воды!

Подводят к столу.

– Фамилия, имя, отчество?

– Сенчин Роман Валерьевич. Поэт.

Женщина тоскливо:

– Зачем так напился?

– Надо.

Снова, помню, оказался на диване. Сижу. Кого-то другого допрашивают. Пить хочется.

– Дайте воды!

Не дают.

Встаю, застегиваю пальто и пытаюсь уйти.

Бухают на диван.

– Сиди спокойно.

– Убейте меня.

– Зачем?

– Вы ведь любите убивать.

– Сиди спокойно.

Сижу, сижу. Пить очень хочется. Все кружится. Весело.

Начинаю петь:

Мама хочет, чтоб я был!

Папа хочет, чтоб я знал!

Я прожил почти сто лет!

Я сто лет на все срал!

Из клетки бурно одобряют.
Вскакиваю и ору:

Не хочу, чтобы я был!
Не хочу, чтобы я знал!
Не хочу-у!..

Меня волокут вниз. Визжу, пытаюсь вырваться. Нет.
Какая-то, помню, маленькая комнатка.
Милиционер:

– Раздевайся давай.
– Что?
– Раздевайся, говорю.
– Аха! – Сую ему под нос фигу.

Удар коленом ниже живота. Приседаю и успокаиваюсь.

И сразу, помню, голый, с одеялом в руке. Ногам холодно, липко. По коридору. Слева и справа отсеки. Вся лицевая сторона и дверь из сетки. Видел такое в фильмах. Везде люди. Много. Облепили сетку, что-то орут, смеются.

Вот уже в одном из отсеков. Полно людей. Деревянный настил, чтоб лежать.

Мне сразу ничего не говорят. Все страшные, в одеялах. Одеяла такие грязные, что страшно.

Провал.

Помню, тихо, тусклый дежурный свет. Сажу на краю настила. Рядом мужик с рыжей бородой.

– ...А меня жена сдала. Сама, гада. Ну, пришел домой веселый... Утром прибежит выкупать.

А пить хочется.

– Здесь вода есть? – оглядываюсь.

Рыжий смеется. В углу грязный сухой писсуар.

Встаю. Колочу в сетку, ору:

– Дайте воды! Во-ды! Во-ды!

Ору, помню, долго. В соседней камере зашумели. И в нашей.

– Во-ды! Во-ды! – это я ору.

И другие что-то выкрикивают, сетку трясут.

Подходит, который меня раздевал.

П-ш-ш-ш. Падаю. Прямо в глаза!

– У-у-у-а-а!!

Повалился, проморгался. Вскакиваю. Они все смотрят на меня спокойно.

– Что же вы?! Надо восстать!

Никто не хочет. Опять тихо. Сажу. Рыжий что-то мне объясняет. Потом падает и засыпает. Сажу.

Тихо, тоскливо. Все спят, многие безобразно храпят. Постепенно трезвею, но думать не могу. Просто жду.

– Дежурный, а-а! – вульгарный женский голосок слева.

Оказывается, и женщины есть.

– Дежурный, а-а!

Кто-то смеется, я улыбаюсь.

– Эй, дежурный! – уже другой, грубый и живой. Тоже женский.

– Что, девочки, хотите? – кто-то спросил.

– Хотим! – ответил грубый голос.

– Эх, да не сидел бы я в темнице!..

Смеется кто-то.

– Дежурный, а-а!

Смех.

– Да дежурный, твою мать!! – истошный крик грэбой. – Скорее сюда!

– Дежурный, а-а!!

Появляется дежурный, который мне прыснул. Проходит. Какие-то разговоры там, ахи.

Дежурный быстро уходит обратно.

– А-а-а!!! – уже не тоненько и вульгарно, а душераздирающе.

Бодрствующие мужчины озабочены:

– Что там? Кого зарезали?

Ничего не понятно. Кутаюсь в одеяло.

– А-а-а!!!

Потом женщина-врач с железным портфельчиком. Дежурный. Та женщина из-за стола.

Вновь разговоры.

Потом отчетливо:

– Одевайся, пошли.

– Не могу я! А-а...

– Что я тебя на руках, сучку, понесу?

Женские голоса.

Потом обратно женщина-врач и женщина из-за стола. Через несколько минут – какая-то вся маленькая, в клетчатом пальтишке. Идет медленно, хватается за решетку. Сзади дежурный.

Потом тихо опять, спокойно.

– А что с ней? – трезвый вроде мужской голос.

– Выкинула, – голос грэбой. – С пятого месяца.

– У-у.

Смотрю на сокамерников. Спят лежат. А мне места нет. Упасть, зарыться в эту массу тел и одеял боюсь. А сейчас уснуть бы... потом проснуться.

Идет мимо дежурный.

– Гражданин дежурный! – я ему. – Дайте водички, все подпишу.

Он даже остановился, посмотрел. Усмехнулся, пошел дальше.

А время идет. Медленно так идет. Еще, наверное, вечер. Приводят новых. Этих даже не раздевают. Суют по камерам. В нашу не суют – некуда.

Справа, где лестница, возникают звуки борьбы. Сипят, возятся. Потом тихо.

Потом:

– А-а-а! – и поток нецензурных ругательств. Это мужской голос.

Потом:

– А-а! Суки драные, волки позорные!..

Вроде заткнули рот. Мычание.

Парень в камере напротив, которого недавно привели, выворачивает глаза в сторону лестницы. Жадно смотрит.

– Что там? – спрашиваю.

– На стул Леху посадили, с-суки!

Этот, напротив, в белом грязном свитере, порванных джинсах. Долго сидит у решетки, потом ложится на настил и затихает.

Проводят кого-то, все лицо в крови. Еще кого-то.
Потом дежурный кричит:
– Мишаков!
– Здесь, здесь!
Забирают наверх Мишакова.
Потом опять тихо. Начинаю дремать.
Появилась уборщица. Протирает пол.
Прошу:
– Тетенька, дайте водички, а!
Водит шваброй туда-сюда. Не реагирует.
– Дайте, а? Глоток.
– Не положено.
Медленно проплывает мимо.
Больше не дремлет.
Время идет. Когда же утро? Башка раскалывается. Язык одеревенел, во рту все горит.
Сижу, качаюсь, как индус, кутаюсь в одеяло.
Долго, очень долго ничего не случается. Люди отдыхают. Храпят, сопят, свистят, мычат.
Встаю. Стараюсь посмотреть, что там делается слева, справа.
Ничего интересного. Ничего не видно.
Рассматриваю стены камеры. Надписи всякие: «Здесь был Василий У.», «Балтон.
2.2.92.», «Трезвяк это рай».
Ногтем старательно выцарапываю: «Сен. 14.03.94. Понравилось».
Еще примерно часа через два начинается некоторое оживление. Выкрикивают фамилии, людей уводят.
– Выпускать начали, – бормочет рыжий мужик, мой сосед. Он сидит, трет лицо, шею, грудь.
Все очень быстро просыпаются. Встают, садятся, шумят.
– Ельшов!
– Здесь я!
Из нашей камеры уводят Ельшова.
Многие возвращаются. Они одеты. Их помещают куда-то дальше, влево.
Опять уборщица с ведром и шваброй. Мечется по коридору.
Рыжего тоже забирают.
Наша камера постепенно пустеет. Нервничаю.
– Сенчин!
– Я!
Наконец-то!.. Выводят. Ведут по коридору.
Вот закуток какой-то. Кресло с ремнями для рук, ног, шеи. Сейчас оно пустое. О! Раковина!
– Можно попить?
Дежурный разрешает. Делаю пару глотков. Вода холодная, пресная. Больше не хочу.
Заводят в комнату. По стенам – большие ячейки. В некоторые засунуты комки одежды.
Дежурный смотрит в список, достает мою.
– Одевайся давай.
Одеваюсь.
– Все на месте?
– Вроде.
Вот одет, обут. Карманы пусты. Платочек только носовой.
– Одеяло сверни.

Сворачиваю серое, в пятнах одеяло, кладу на стопку таких же.
Возвращаемся в застенки.
Запирают в камеру. Тут все одетые. Сидят, молчат, ждут.
Тоже сажусь. Прислушиваюсь к выкрикам фамилий.
– ...А если денег нет? – робко интересуется юноша из угла. – Тогда как?
– Домой повезут, – отвечает кто-то, – чтоб выкупали.
– Домой?!

Юноша в отчаянии.
К камере подходят два милиционера в куртках и дежурный. Открывают дверь.
– Скорбинский, выходи!
– Куда?
– Узнаешь.
– На пятнаху?
– Выходи давай.

Но Скорбинский не хочет. Его ловят, вытаскивают силой. Он орет, мечется в руках.
Дверь замыкают. Крики Скорбинского все дальше и дальше.
– Пятнадцать суток – это вилы, – хрипло объясняет парень с огромной шапкой на голове. – Три раза тянул.
– А за что дают? – вновь подает голос юноша.
– А за все. По пьяни натворишь делов, и влепят. Даже и сам не помнишь...
– Рикшанов!
– Тут он.

Из отсека напротив забирают Рикшанова.
Снова молчание. Ожидание.
– А можно вещами выкупиться? – допытывается юноша.
– Можно. Смотря, кто там сидит да какие вещи. Мо-ожно!..
Опять появился дежурный. В руках бумажка.
– Липин, Егоров, Сусоев, Дьяченко, Усольцев, Никитин, Рогожин.
Из камеры увели троих.

Оставшиеся молчат. Совсем устал. Лег на деревянный этот настил. И уснул.
Проснулся, наверное, быстро. Дежурный выкрикивал следующую партию:
– Якунин, Перляков, Вениченко, Жлобин, Сенчин, Абакумов, Местер.
Собрали, повели.
Теперь наверх!
В той комнате, где диван, клетка. За столом всё те же.
– Сядьте.
Садимся кто на диван, кто на корточки.
– Жлобин.

Долго разбираются со Жлобиным. Он стоит у стола. Какой-то у них там разговор.
Что-то дурно, тошнит, дрожь, пот по спине холодный. У них разговор бесконечный...
Устал.

Перляков, Местер, потом я.
– Ну что, Сенчин? – спрашивает милиционер со значком.
– Что – что? – отвечаю.
– Что с тобой делать будем?
Мнусь, мне тяжело.
– Не знаю. А что?
Милиционер смотрит в бумажки.
– Ну что? На пятнадцать суток думаем тебя оформлять.

Чуть не падаю.

– За что?

– Как – за что? Оказывал сопротивление при задержании. Здесь буянил, кричал...

– Простите, – голос дрожит от страха, – не помню.

– Ну, это не важно.

Психологическая пауза.

– Ладно! – в конце концов вскрикивает этот, со значком. – Так как ты у нас вроде впервые... Впервые?

Спешу:

– Конечно, впервые!

– Вот, – он лезет в сейф, что стоит справа от него, – забирай свои вещи...

Паспорт, фотка любимой, пилка для ногтей, камушек, медиатор, несколько денежных бумажек, мелочь и какие-то несусветные наручные часы.

– Это не мое, – говорю я и их отодвигаю.

– Да нет, – милиционер смотрит в список, – твои.

– Не мои.

– Ну, у тебя же были часы?

– Угу. Черненькие такие, без браслета. «Монтана».

Долго ищет их в сейфе. Находит.

Когда двое часов рядышком лежат на столе, жалею, что не взял большие, классные.

– Все вещи?

– Все, – рассовывая их по карманам, отвечаю я. – Только денег мало.

Идет разборка с деньгами. Оказывается, при доставке сюда у меня имелось при себе тридцать тысяч четыреста пятьдесят рублей. За обслуживание – двадцать одна тысяча двести рублей. Осталось, следовательно, девять тысяч двести пятьдесят рублей.

Покорно вздыхаю, хотя знаю, что перед пьянкой в кармане моих брюк лежала пачечка из восьми десятитысячных купюр. Даже если туда-сюда... Хрен с ним, лишь бы выйти скорее.

Расписываюсь сначала в каком-то журнале, затем в квитанциях.

– Ну, все. Свободен.

Неужели закончилось?

Улыбаюсь:

– Спасибо за заботу. Столько людей!.. А можно, я про вас поэму сочиню?

Усталая женщина говорит:

– О нас, Рома, лучше в прозе.

– Хорошо, попробую в прозе.

И вот я на улице. Весна кругом!

Только здесь ощущаю, как же мерзко пахнет там, в здании за спиной.

Утро. Солнышко. Люди ходят, ничего не зная.

И я пошел.

Иду, дышу. Глаза слезятся. Лужи. Я иду по лужам. Тепло.

– Э-эх!

Кайф.

1994 г.

Мясо

Ближе к вечеру, кажется – в среду, к К-ому ж/д вокзалу подъехал грузовик «ГАЗ» с будкой. Такие машины у аварийных сантехников и в медвытрезвителях обычно бывают.

Из кабины вылезли два человека в милицейской форме. И из будки еще один, тоже по виду милиционер. У старшего – лейтенанта – рация, кобура, у двух других – дубинки, погоны младших сержантов.

Вошли внутрь вокзала. В залах ожидания, в буфетах, у касс – битком людей. Конец лета – народ активно перемещается.

Первым забрали валяющегося между рядами сидений старика в истасканном черном пальто; голова и лицо сплошь в длинных седых волосах.

Отволокли в будку.

Потом в бесплатном туалете взяли двух мужиков-бичей. Они сидели возле раковины и курили. Не сопротивлялись. Лениво проследовали к машине.

На втором этаже у киоска по продаже газет и журналов обнаружили женщину-туркменку (или таджичку, а может, узбечку) и ее сына лет шести-семи. Велели предъявить документы. Документов не оказалось. Их увели.

Там же, на втором этаже, забрали пьяного человека. Никаких ценностей и удостоверения личности в кармане не обнаружили.

На платформе № 3 была задержана и препровождена в машину собирательница стеклотары, явная б.о.м.ж.

Семерых, видимо, было достаточно.

«ГАЗ» завелся и уехал от К-ого ж/д вокзала.

Он долго колесил по городу, затем стал сбиваться к окраине, в направлении юго-востока.

Вот грузовик миновал несколько кварталов, готовых к сносу, но жилых еще деревянных избушек, проехал рядом с заброшенными складами Минторга, перебрался по мосту через речку К-ку и спустя еще минут пять въехал в ворота частной звероводческой фермы «Золотой мех».

1993 г.

Изобилие

С чего начать – даже не знаю... Колбасы – пять сортов вареной и три копченой. Сервелат, салями. Ветчина рубленая и просто ветчина. Сыры – «Нежный», «Голландский», «Костромской», «Российский», «Пошехонский», какой-то еще с зеленой плесенью. Потом – яйца куриные трех категорий и перепелиные в коробочках. Масло сливочное по двести пятьдесят и пятьсот граммов, а также сколько хочешь – от большого куска. Маргарины различные. Растительное масло в пластиковой таре. Жиры... Фритюрный жир «Экстра», внутренний жир, сало. Сало соленое, сало копченое, шпик. Куры копченые целиком и ножки, крылышки, грудки отдельно. Окорочка. Куры гриль тут же готовятся. Пахнут... Икра лососевая в стеклянных баночках и в металлических. И на развес. Черная тоже есть. Консервов различных – не сосчитать. Консервы для собак и для кошек. Из рыб – сельдь, окунь морской, камбала, горбуша потрошенная и непотрошенная, омуль, пикша, скумбрия и ставрида. Минтай, скрюченный в уголке. Та-ак... Ну, сахар, соль, специи. Мука. Для блинов отдельная. Для кексов. Крупы – рис, рис пропаренный, манка, гречка, сечка, горох, пшено, перловка, овсянка. Макароны изделия – за неделю все не перепробовать. Отмечу спагетти с поваром на упаковке. Вкуснее ничего не бывает. Их даже промывать после варки не надо – не слипаются совершенно... Конфет просто море всевозможнейших, и плюс «Ассорти» в коробках. И с коньячной начинкой, с ликером, с бальзамом, с орехами, с фундуком каким-то. Шоколадки. Шоколадные батончики, пастила, мармелад, зефир белый, розовый, в шоколаде. Печенье «Медовое», «Спортивное», «К чаю», «Сюрприз» и так далее. Пряников сортов пять. Вафли – два сорта. А также иностранные печенья, рулеты, торттики в красочных упаковках. Кофе растворимый – двенадцать сортов, два сорта кофейных зерен, кофе молотый. Какао есть. И халва есть... Так, что еще выделить? Молочные, кисломолочные продукты. Йогурт... Переходим к фруктам. Бананы, конечно, яблоки по семь восемьсот за кило нормальные и по четыре тысячи обрезанные, апельсины, лимоны, виноград (не очень, наверное, хороший – мелкий какой-то), мандарины зато – как на подбор, каждый в отдельной упаковочке. Есть киви. Манго. Фейхоа. О луке, картошке, свекле и говорить не стоит. Лежит огромный арбуз кэзэ на семь. Откуда он в феврале?.. Теперь – напитки. С легкого начнем: восемь различных газировок, наших и зарубежных, в пластиковых бутылках, в стеклянных по пол-литра, литру, полтора и по два. Плюс – соки. Плюс – разнообразные минералки. А в спиртном прямо теряешься. Наша водка – «Золотое кольцо», «Минуса», «Старательская», «Столичная», «Пшеничная», «Русская», «Старорусская», «Колесо фортуны», просто «Водка». Иностранная – семь наименований. Водка в жестяных баночках – «Асланов» и какая-то с черепом на боковине. Много-много, даже до тоски, всяческих «Черемух на коньяке», настоек, аперитивов. Аперитив «Степной» выделяется. Хорошо идет. Вина – три полки заставлены, плюс игристые, шампанские. Кувшины какие-то, сабля с чем-то бордовым. Четыре сорта коньяка, рядом – восемь пугающих сосудов с шестизначными цифрами. На них и смотреть не стоит. Пиво, конечно, пиво! Пивковское... «Жигулевское», «Московское», «Охотничье», пиво в банках, баварское пиво и наше, как баварское, и чешское, и всякое. О сигаретах говорить не буду – я предпочитаю свои, с детства их курю. А в отделе «Кулинария» – опять куры гриль крутятся, пахнут, манты готовые, пирожки, сосиски в тесте и просто – с горошком, рыба жареная, беляши, чебуреки, тесто пельменное и пирожковое в целлофане, мороженое простое и эскимо. Пельмени «Русские», еще какие-то, вареники, блинчики, котлеты, биточки – всё куча-малой в плоском холодильнике со стеклянной крышкой. Три высоких столика – можно кофе чашечку выпить или освежиться апельсиновым соком. Закусить быстро, но плотно.

Какое удовольствие стало ходить по магазинам, видеть такое сказочное изобилие! И что бы ни говорили, как бы ни ругались, а вот вам картина – в каких-то три года прилавки забились до отказа, новое негде раскладывать. Поверить нельзя, что когда-то было шаром покати – килька в томате, детское питание «Малыш», которое мылом пахло, и морская капуста.

– Сынок, извини ради бога... Извини, сынок, спросить хотела... У тебя двух сотенок не будет... на хлебушек, милый? Уж ты извини...

– Эх, бабушка... Да откуда?

1995 г.

Таможня

Меня трясут за плечо. Я просыпаюсь, выпрямляюсь на сиденье, осматриваюсь.

Автобус стоит, в салоне горит полный свет, пассажиры суетятся, копаются в сумках, пакетах. По проходу, перешагивая через сумки, путаясь в добротном казенном тулупе – клеймо-звездочка на подоле, двигается милиционер.

Второй стоит надо мной:

– Ваши документы.

Я вытащил из-под свитера, из нагрудного кармана рубахи паспорт. Милиционер взял его, полистал.

– На таможню, – велел, сунув паспорт в карман, и добавил строго: – Со всеми вещами!

Он перешел к соседним сиденьям, а я с сумкой полез к выходу.

На улице мороз, ночь. Сразу начинаю дрожать, кутаться в пальтишко. Вспоминаю, нет ли у меня чего-нибудь запрещенного.

Вагончик таможни огорожен со стороны дороги бетонными плитами, с его крыши на автобус направлен свет мощного прожектора. У дверей стоят двое молодых людей в гражданской одежде, в руках у них автоматы.

В вагончике досматривают троих. Я встаю у перегородки, ожидая своей очереди.

На столы вывалено содержимое карманов: бумажники, сигареты, спички, носовые платки, зажигалка, мелкие деньги, пуговица, карманный сор. Милиционеры осматривают это тщательно, кропотливо. И из сумок достается все, что есть. У кого-то бритва и полотенце, у другого бутылки пива, у третьего сало...

Очень долго задерживаются с парнем, в сумке которого оказывается пакет с (как он объяснил) семенами. В пакете бумажные сверточки. В сверточках что-то хрустит. Что же это? Действительно семена? А может быть?.. Пакет развязывают, сверточки разворачивают, и милиционеры сообща смотрят, трогают, нюхают, советуются, спорят.

Наконец парень с семенами отпущен. Мой черед выворачивать карманы и выкладывать вещи из сумки.

У меня – как у всех: курево («Беломор»), коробок спичек, грязный носовой платок, булавка, мелочь, ручные часы без браслета, автобусные билетки. Ничего криминального, правда, подозрение вызывают папиросы, каждую из них осматривают, нет ли внутри чего. Нет. А в сумке – комок белья в стирку, книга, кулек с хлебом и остатками колбасы, зубная щетка и зубной порошок в баночке. Баночку вскрывают, порошок нюхают, колют спицей.

– Пастой лучше чистить-то, – дружелюбно замечает один из милиционеров, – чем мелом этим.

Я отвечаю:

– И дороже.

Ну, все в порядке, я свободен. Паспорт мне возвращен. Сгребаю со стола белье, книгу и прочее, сую в карманы «Беломор», спички, часы. Иду к автобусу.

Автобус тарахтит, глушить мотор на таком морозе небезопасно.

Водитель ходит перед фарами, курит, ворчит:

– Соляры сколько горит, мать вашу так!.. И чего все надо?.. Каждый раз такая!..

Он бросает окурок, оббивает с ботинок снег о колесо и лезет в кабину. Я закуриваю, топчусь, чтоб не заоченеть. Холод страшный – даже глазам больно, – глубокая ночь, тайга и горы вокруг, в небе звезды горят ярко-ярко, и даже свет прожектора, фар не делает их блеклыми. Жутковато. Еще эти пареньки с автоматами...

Не курится, дым плотный, боюсь им задохнуться. Топчу почти целую папиросу.

Идет поверхностный досмотр багажа, вещей пассажиров в салоне. В вагончик приглашают наиболее подозрительных, похожих на наркоманов и наркокурьеров. Остальными занимаются на месте.

Сегодня ничего, а в прошлый раз мне пришлось разуваться, закатывать рукава и показывать вены. Меня тогда прохлопали всего, лазили в карманы и нашли окурочек «Примы», очень помятый. Окурочек был искрошен над газетой, но в нем ничего, кроме табака, не оказалось.

А сегодня нормально.

Вот в конце концов и закончилось. Я снова в теплом салоне «Икаруса», сижу в кресле и готовлюсь заснуть. Выключается свет, пассажиры затихают, автобус трогается. Таможня на границе Тувы, республики в составе России, и Красноярского края, – позади.

1995 г.

Ничего

1

Давай я попытаюсь тебе объяснить – некоторые вещи достаточно трудно понять, – как все именно так получилось. Все это получилось потому, что просто вокруг всего очень много, все такое разное и все надо попробовать. А на самом-то деле – глупые кружочки из разноцветной бумаги. Понимаешь, о чем я? И потом наступает разочарование, все говорят, ты, мол, человек, не нашедший своего места в жизни, ты много пьешь, а это дурной тон. Что такое дурной тон? Теперь все заняты проблемой респектабельности, все хотят выглядеть и жить респектабельно. Но я тебе расскажу про Серегу. Он скоро умрет, и я не расстроюсь по этому поводу. Он прожил 30 лет, ему было здесь плохо. Люди учили его и морщились, если Серега не подчинялся, они бросали его. Самое, понимаешь, обидное, это когда не хотят слушать, а ты говоришь сокровенное, тайное про себя, про вообще этот мир. Конечно, ты можешь говорить такое, только выпив, прилично выпив, а тебе отвечают: «Ты пьян, иди ляг». Становится тоскливо и совсем-совсем одиноко, словно тебя заперли в темной комнате, в руках у тебя интересная книжка, но ее невозможно читать – не разобрать ни слова. Понимаешь, о чем я?

Теплое утро, июль, солнце щекочет вам веки. Вам кажется, что вы ребенок, что вы лежите где-то в саду, над вами висят вишенки, яблочки и лучик, пробившийся сквозь листву, нежно будит вас. Улыбка на вашем лице, вы чувствуете ее; лицо у вас детское, чистое, оно похоже на яблочко или вишенку. Зеленая, с бекарасами лужа, протухшая вода вместо утренней ванны, над вами не плодовое деревце, а старый тополь, на стволе крест красной краской – его скоро спилят. И потом вы встаете, отряхиваетесь кое-как и идете. И с каждым шагом, с каждым вздохом город вливается в вас, угарный газ выдавливает глаза, тащит сердце к горлу и протыкает барабанные перепонки. Каждый прохожий кусает вас, каждый автомобиль едет по извилинам вашего мозга, каждый пешеходный переход разрывает вас на куски. Каждый шаг, каждый дом, каждая травинка на узком газоне. И вам ничего больше не остается, как вечером вновь рухнуть в зеленую лужу.

И мы с Серегой пытаемся любить одну девушку, точнее – женщину, ей двадцать шесть. Сереге тридцать, а мне двадцать четыре. И мы ее действительно, наверное, любим. Ее зовут Света, Светлана, у нее маленькая дочь, а муж сбежал. Мы часто говорим о ней, мы говорим, что это самая лучшая женщина, и она действительно, наверное, самая лучшая. И когда мы приходим к ней, она нас не впускает. Она говорит, что мы пьяные, и запирает дверь. Мы кричим ей нежные слова и все такое и что мы не пьяные, а просто выпили, чтобы набраться смелости к ней прийти. Понимаешь, о чем я? Серега забирается на трубу заброшенной кочегарки и кричит оттуда всем про Светлану. И он говорит, что когда-нибудь разожмет пальцы и полетит. Светлана смотрит из окна, когда Серега торчит на трубе, кочегарка как раз во дворе ее дома. Ему нечего терять, у него никого, кроме Светланы. И он легко разожмет пальцы, поверь. И он полетит. А Светлана, она все поймет, она тогда все поймет, но будет поздно. И я отвернусь от нее, я уйду куда-нибудь и надерусь. Понимаешь меня?

Наш город довольно большой, а мне кажется, что я со всеми знаком, что в каждом подъезде я перекуривал в зимние вечера, что изучил разброс цен по магазинам и ларькам, досконально знаю, где есть дешевая, не ядовитая водка. Понимаешь, город для меня как большая квартира. Всю жизнь я занимаюсь тем, что брожу по нему и смотрю. Я не любил учиться, много прогуливал, когда были деньги, шел в кино, а когда не было – шатался. Я всегда делал то, что мне по душе. И Серега такой же. Вот у него никого не осталось, он поме-

нял трехкомнатную квартиру на однокомнатку, а девятнадцать миллионов пропил. Еще один миллион он отдал мне – послезавтра я уезжаю. Мне надоел этот город, надоело вариться в забытой кастрюльке, перебирать кружочки из разноцветной бумаги. И все, даже самые стойкие, остепенились, засучили рукава и стали работать. Остался один Серега. Серега скоро умрет. Я уеду, и он умрет. Он мне точно это сказал. Он залезет на трубу, покричит, отпустит ржавую скобу и полетит. Он упадет. Понимаешь? Но мне нужно ехать, я еще на что-то надеюсь, чуть-чуть, самую малость. Сегодня я позвонил Свете, Светлане, почти трезвый еще позвонил, и сказал: «Послезавтра я уезжаю. Честно. И знаешь, я честно тебя очень люблю, а Серега тебя еще больше любит. Жалей его, он останется теперь совсем одиноким». И когда я замолчал, я думал, что Светлана скажет те самые несколько слов, несколько главных слов, но она сухо спросила, так убийственно строго: «Всё?» «Всё», – сказал я, а она положила трубку. Меня словно об стену ударили, я слушал эти гудки, торопливые пики, и мне стало плохо, я качал головой. Понимаешь меня? И вот я надрался. Понимаешь, всему миру я не по кайфу, и он мне, какой вот он есть, тоже. Или я всегда и везде буду в положении отщепенца? И поэтому нужно уехать, нужно проверить. Серега постоянно режет себя, полощет ножом по груди, по рукам, его тело покрыто рубцами и шрамами. Страшно. Он скоро умрет. К нему приходит соседка с пятого этажа, тридцатипятилетняя женщина-алкоголик. Втроем мы устраиваем веселые пьянки. Нам хорошо тогда, мы делаем, что хотим, а потом Серега плачет. Он хочет совсем другого, совсем-совсем другого, он ведь писал стихи, знаешь, какие стихи! А теперь уже все. Понимаешь, о чем я? Ох, тяжело объяснить.

Черные очки многих спасают. Не от солнца, нет, а от окружающего кошмара, от взглядов и от общения. Уши заткнуты музыкой, и ты почти свободен. Ты защищен. А мы с Серегой открыто смотрим вокруг налитыми мутью глазами, принимаем укусы и жалим сами. Мы все слышим, мы открыты, и только стойкий аромат перегара служит декоративной оградкой, которую любой при желании может перешагнуть. Но мало кто на это решается. Тридцатипятилетняя женщина-алкоголик плетется за нами и кланчивает пива. Она не может поверить, что у Сереги нет больше денег. А я ей не дам. «Береги деньги, Роман, – учит Серега, почмокивая, пытаюсь смочить слюною свой высохший рот. – Старайся поменьше пить, это вредно... Ну, понимаешь меня?» Он говорит как старший товарищ, дает мне советы, предостерегает. Он говорит, преодолевая сушняк, дурноту, разжижение, растекание. А вчера он плакал.

Серега плачет. Он плачет всегда, когда напьется. Ему есть о чем плакать, что сказать мне, только мне, ведь больше никому, больше никто не хочет слушать его. Женщина лежит на линолеуме в прихожей, ее дряблые бицепсы отдыхают. Где-то у нее дети, старушка мать, бывшие мужья и сожители, но она ничего не помнит. День за днем, пробиваясь все дальше, мы пьем. Это похоже на половое влечение – тебе кажется, что вот, вот она та, та единственная, вторая твоя половина, без которой мучился, просто не жил. А потом, потом, когда все... Ты становишься пустым и слабым, ты понимаешь: тебя обманули. Встаешь, собираешь силы и снова ищешь. И вот мы пьем рюмку за рюмкой, пузырь за пузырем и надеемся доплыть, доехать до того места, где что-то блеснет. Но – нет, мы на кухне, мы за столом. Всегда, всю жизнь, которая вяло стекает, словно эта мучнистая масса по моему подбородку. «Неужели, Ромка, неужели она только склон и мы катимся по нему? Или это игра в жмурки, или тропинка, робкая тропинка по чужой пустынной степи? Парк чудовищ, американские горки... Э-эх, Ромка!.. Знаешь, жизнь, мир, люди, все настолько чудесно, что я готов молиться на эти дела. Я готов вообще!.. Понимаешь меня? А с другой стороны, люди могут в одну секунду – всего за секунду! – превратиться из божих подобий в кровожадных зверей и сожрать за одно неугодное слово, за один шаг не туда. А жизнь, сама жизнь, Ромка... Жизнь! Она бьет, бьет, бьет тебя, бьет меня без остановки и жалости. Она становится Майком Тайсоном. Ты понимаешь? Мир опускается и расплющивает, как таракана. Вот так, гляди: чик! – только брызнуло. И эта любовь... Да, я люблю, люблю так, как никогда еще не любил. Последний раз,

Роман, самый последний раз, понимаешь?! Мне тридцатник... И я счастлив... Пускай она не хочет, пускай не открывает, я все равно буду. Понимаешь? Я буду, буду!..» Серега валится с табуретки, опрокидывает кухонный столик, все летит в пустоту, в черноту; тарелка с блевотиной у меня на коленях, пригрелась, как домашняя киска. Я сгоняю ее и тоже лечу, во что-то вонзаюсь и замираю. Наступает ночь.

А теперь мы идем на вокзал. Наша женщина тормозит возле каждого киоска, смотрит на пиво и, будто начинающий конькобежец, обламывая каблуки, спешит нас догнать. «Серый, всего за две восемьсот! Ну, Серый, ну купи похмельнуться!» Сейчас Серега не замечает ее – если он оглянется, отзовется, увидит бугристое лицо и заплывшие глазки, ее дряблые бицепсы, бледные ноги в синих и фиолетовых жилках, его моментально стошнит. Сейчас, днем, для него есть только Света, Светлана; я боюсь что-то сказать о ней, это будет здесь бесполезно, фальшиво; о ней мы говорим в ином состоянии. Но придет вечер, и женщина-алкоголик – соседка с пятого этажа – заменит Светлану, хоть на секунду, хоть на самую малость временного полета она станет для Сереги близким, родным, единственным существом.

Вот поезд, он стоит на первом пути. Отъезжающие и провожающие. Я оборачиваюсь: сзади город, где жил, и дышал, и тоже любил, и вижу ее, нет, не Светлану. Она ковыляет, страшная и одинокая, лицо искажено обидой и мукой похмелья. За вчерашнее счастье все мы платим похмельем. И я покупаю бутылку дешевой водки, Серега ругается. «Необходимо, Серега, сейчас необходимо». Это вранье, что водку пьют с радостью, залихватски, помногу. Нет, ее глотают через силу, с отвращением, как рыбий жир, как какую-нибудь касторку, горькие порошки. Просто очень и очень надо. Женщина пьет тоже, теперь она успокоилась и молчит. Вот становится жарко, внутри что-то булькает, боль вынули из головы, там мягко постукивает. Серега, жалкий милый Серега часто и нервно затягивается «Примой», смотрит на поезд. Я знаю, о чем он думает, – о том же думает и покойник, когда от него прячут солнце. «А, это, слушай, а может, я не поеду?» Раскрываю паспорт, там лежит билет, пропуск в другой мир или дешевый билетик в следующую темную комнату. «У? Зачем вообще? Зря же все это. Понимаешь меня?» Серега мотает головой, по его рыжеватой щетине ползет слезинка. «Езжай, Ромыч, тебе надо, ты понял...» Мы не смотрим друг другу в глаза, взгляд скачет по посторонним людям, по чемоданам, тележкам. Нет, ее мы не увидим, она не придет, не придет. И потом мы обнимаемся, и каждый знает: больше нам вместе не выпить, не поговорить, не понять друг друга. «Это, Светланке привет. Ладно?» – «Конечно, Роман. Она расстроится, что ты уехал». Серега врет, но так сейчас надо. Я обнимаю и нашу спутницу, хоть какого, но соратника, необходимого третьего. «Береги там себя, веди себя хорошо», – вырывается из нее, и я послушно киваю, шепчу что-то в ответ, принимая ее хрип за нежные напутствия мамы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.